

# Анатолий Маляров

## Любовь в канун Миллениума

*Триптих*

### Гастроль

В тридцать с небольшим утраты даются нелегко. Весной у меня не приняли заумный спектакль. Я скрежетал зубами и вострил лыжи. Но подошел наш пухленький главный, Анатолий Яковлевич, обозначил отеческую улыбку и прогудел:

— Не спеши. Поедем на гастроли. Я дам тебе комедию-самоигралку, пригласишь «оленей», вывезут.

«Оленями» в труппе называли трех молодых, одаренных и независимых актеров.

...Первый день в чужом городе не снял напряжения. Редкая в наших краях чопорность, много зелени, соседство вычурных старинных этажей в три окна с убогой панельной архитектурой. И полное сознание, что ты не котируешься. Слова директора-распорядителя — доказательство тому:

— Жить будете в гостинице «Арена», не один, с залуженным Пришибовским.

Я открыл рот возразить, но распорядитель не любил коллизий и подтолкнул ко мне начищенного, припудренного подстарка, недавно перешедшего к нам из Одессы. Я побрел с ним под ручку, внимая его вступительной речи:

— Коллега, ты умеешь снисходить к человеческим слабостям? Да или нет? Так вот, я ночью выхожу. По два, бывает, по пяти раз. Мочевой пузырь. Не может же у человека быть все на уровне: и талант и мочевой пузырь. Так эти пуресы не хотят со мной поселиться. А я так тихо все проделываю — ты и не услышишь.

Про Лео Вениаминовича я успел узнать такое: переодеваясь в театральный костюм, он тщательно проверяет содержимое своего кошелька и передает его помощнице. Сигареты покупает поштучно — из экономии. В универмаге, выбрав покупку, просит отгородить его в уголке, спускает брюки и достает из нашитого на трусы кармана с крупной английской булавкой деньги. Комик он профессиональный, но, не приведи Бог, ему подадут реплику неточно — в гримуборной будет истерика.

— Я так тихо выйду и зайду, ты не будешь в претензии.

— Ладно. Я сплю аки безгрешный. Но уж если вы меня потревожите...

Устроились в небольшом чистом номере с

желтыми стенами и рубиновыми искрами на шторах. Телефон, горячая вода, чего еще надо!

В первый вечер Лео Вениаминович разделся, снял майку, вытряхнул ее в приотворенную дверь на проходящего мимо жильца и лег на спину. Одеяло натянул под мышки, руки выпростал и сжал сусликами над грудью. Я уснул сразу. И спал, как обещал, без движения и храпа. Где-то за полночь, по-видимому, опасливо озираясь на меня, Лео Вениаминович выходил. Как он вел себя, можно только догадываться однако проделал все так тихо, что сам пришел в восторг и не стерпел, растолкал меня, что не так уж просто, и, сияя, спросил:

— Коллега! Ну, как я выходил?! Я даже тебя не разбудил.

Я не был в претензии...

Выйдя из ботанического сада, я чувствую себя одиноким: слишком красиво для рядового рабочего дня. Через короткое время войду в репетиционный зал. Т-образно стоят столы, снуют «олени» и занятые у меня «старики», ждут от меня чего-то. А я не горю желанием навязывать им не слишком веселую комедию. Надоело скользить по поверхности, когда рядом с тобой, вон за теми роскошными, оставленными для нас старыми господами окнами, мои современники недоедают, не любят друг друга, воруют. Вместо обнажения

пошлости и глупости нашей жизни, повальной несправедливости я в который раз преподнесу зрителю рассироपленную, во всех инстанциях одобренную басенку, буду выжимать смех самыми непотребными трюками.

Я рад, что имею в резерве полчаса времени. Издали вижу крупную фотографическую рекламу. Наша прима Нина с полуобнаженной грудью и вытарашенными глазами. Два героя из комедии плаща и шпаги застыли в глубоком реверансе, шляпы с плюмажами на отлете. Частокол женских ног из оперетты дурного толка — я даже не припомню, из какого это спектакля. Репертуар у нас серьезный.

Под афишами стоят две девушки, обе в зеленых летних платьях различных тонов и покроев. У одной пышные каштановые волосы ниспадают на спину, другая прижимает ладони к губам. Изучают названия пьес и имена исполнителей. Пришибовский выходит из-за стенда с его изображением.

— Ты видишь, больше не нашли моих фотографий. Только в двух ролях. А я играю здесь в трех спектаклях.

— Ради Бога, не огорчайтесь. Пройдет два-три спектакля, и в городе только и будет разговоров, что про вас.

Заметив пристальный взгляд, которым я

смерил девушек, Лео Вениаминович плутовато ухмыляется:

— Можешь разыграть красавиц. Я подслушал. Вон ту, рыжую, зовут Женей, а другую как-то странно, Це-це, Цецилия, что ли. Ты же молодой, подойди, подпусти тумана, пусть знают наших.

Я хочу пройти мимо. Он преграждает мне путь и, ласково теребя за плечи, подталкивает к девушкам. Сам исчезает так же лихо, как и появился.

— Доброе утро, девушки! Я хочу наняться к вам гидом.

— Вы из театра?

— Да, Женя.

— Что? — Она огорошенно вскинула густые и, в отличие от волос, не рыжие, а черные брови, засмеялась: зубы прелестные. — Вы за нами следили? Приятно, очень приятно.

— Да нет, я только подошел.

Ей можно дать двадцать лет. Чистый овал лица, не худенького, но с тонкой кожей, густые волосы венчиком встают надо лбом и спокойными волнами уходят за плечи. Большие голубые глаза с черными ресницами. Хороша у нее фигура! Тяжелые груди делают девушку старше своих лет, изящный изгиб талии и развитые бедра. Легкое платье играет под летним ветерком и переливается многими зелеными оттенками...

Рядом с Женей подруга, которую Пришибовский назвал Це-це, выглядит бледно: худая, излишне поджарая, с печальным выражением лица и раздражающей россыпью мелких родимых пятен на шее. Она не остановила на себе взгляд, и потому я настойчиво смотрю на нее.

— Не следил, но знаю, что вас зовут Це-це.

Женю донимает новый приступ смеха.

— Не лукавьте, следили вы за нами. И сейчас говорите неправду. Как же верить вашим словам о спектаклях, если вы с самого начала дурачите нас.

— Я послушный мальчик и не лгу. Не я выследил вас, а вон тот великолепный артист, что приближается к служебному входу. Он мне все о вас сообщил.

— Нехорошо подслушивать.

— Ему нет нужды подслушивать. Он гипнотизер. Он усыпил вас и выпытал все, что ему нужно. Вы и не заметили.

— Вот какие у вас артисты! — вставила Це-це не без иронии.

— А вы приходите на спектакли. Он, после поклона в конце, съедает зрителя. Любого, по желанию жертвы.

Жене нравится разговор, который и на разговор не походит. Она переводит взгляд с одного щита с фотографиями на другой и спрашивает,

по-детски тыча пальцем в костюмированные фигуры:

— А этот принц чем занимается?

— Он околдовывает женщин с первого взгляда.

— А эта толстая старуха?

— Это — победительница республиканского конкурса на лучшую тещу.

— Послушайте, что у вас за театр!

— Приходите на спектакли, увидите.

— А вы, случайно, не зазывалой работаете?

— Скромный распространитель билетов, — я дурашливо кланяюсь. — Борзовик, с вашего позволения.

— О, теперь многое проясняется. Доставайте билеты, будем брать.

Мне очень нравится Женя. Я сознаю, что не по Сеньке шапка, но на всякий случай достаю пригласительный на две персоны, выпрошенный у администратора для горничной, протягиваю Цецилии, чтобы уравнивать шансы девушек.

— Прошу. Сегодня открытие, все билеты проданы. Это на завтра.

— Сколько это стоит?

— Театр готов доплачивать таким очаровательным зрительницам.

Я хочу понравиться и нажимаю на педали со всей мочи. Чувствую, порох на сегодня кончается,

поспешно прощаюсь.

— Жду завтра к девятнадцати.

Удаляюсь продуманно небрежной походкой, про себя заклинаю: придите, придите!

...Моя трактовка пьесы звучит странно. Главный говорил о комедии, а я вижу трагикомедию, скорее, драму. А юмор? Есть много юмора, он печален, как в жизни, — смех над собственным бессилием.

«Олени» ухмыляются. Они легки, современны, они не голодали, их любят режиссеры и женщины, больших потерь они еще не знают. Я говорю им, что скучно смотреть на персонаж, который весь сверху, пусть зритель больше догадывается о его переживаниях. Не надо разжевывать и подавать буквально и слова, и мысли, общепринятые, прописные истины уже изрядно надоели.

Сегодня я никого не могу убедить, чувствую себя опустошенным. Повторяется история с проваленной постановкой. Там я не сумел повести за собой, а может быть, кому-то выгодно было убедить меня, что я не смогу повести за собой.

Так проходит первая репетиция.

Так проходит и вторая.

Жду вечера, бреюсь, принимаю душ в



гостиничном номере, наглаживаюсь.

— Коллега, как тебе девочки?

— Какие? — Я понимаю, о чем Лео Вениаминович, но притормаживаю.

— Мешегине! Можно подумать, что ты прихорашиваешься к Анатолию Яковлевичу.

— Ах, вы о вчерашних? Одна лучше другой.

— Ну, желаю успеха!

Он лежит поверх одеяла в одних трусах с нашитым карманом, нога на ногу. Он мыслит. На физиономии выразительная игра чувств.

— Как опытный ловелас, просвети меня, во что обойдется приглашение двух дамочек в ресторан?

Неожиданно. Собственно, в логике характера Пришибовского.

— По полторы сотни на душу.

Он резко, слишком резко для пятидесяти лет и его радикулита, садится.

— Ты с ума сошел! И ты позволяешь себе такое?

— Если вы позволите?..

— Стоп! На что намекаешь? Не собираешься ли ты угощать на одолженные тугрики?

— Лучше не идти?

— Нет, нет. Ты иди, ты же молодой. Славные семиточки!

Однако коллега отворачивается к стенке, не

желая участвовать в эдаком неразумном расточительстве.

Четверть седьмого пополудни. Жду, прячусь за рекламными щитами, за витражами фойе, неудобно перед своими.

Женя подходит одна. Платье — накидка из вишневого шелка. Она старше двадцати лет, величава и недоступна. От этого я внутренне отстраняюсь, чуждаюсь ее. Встречный ветерок приподнимает крылатку, показывает обтянутые таким же шелком груди. Они большие, и мне хочется, чтобы это мне не нравилось, раздосадовало меня. Ну ее к лешему!

Она не ищет меня взглядом, она идет прямо на щит, у которого я пригорюнился, непоколебимо уверенная, что ее ждут со вчерашнего дня.

— Добрый вечер! — произносит она, вздохнув, словно после стометровки, и едва заметно закатив глаза.

— Вы так спешили...

— Я спешила извиниться. Циля не может сегодня. У нее завтра экзамен.

Я хочу выразить полное удовлетворение стечением подобных обстоятельств, но такт требует своего:

— Жаль. Никого так не жаль, как студентов в июне! Она где учится?

— На экономическом. Третий курс.

— А вы свободный человек? — решаюсь спросить напрямик.

Сияние глаз притупляется, левое веко заметно прищуривается, что-то прячет.

— Мы однокашницы. Только я... мне нужно было досрочно сдать.

По тону она в чем-то проговорила; я не стал смущать девушку вопросами.

Мы протискиваемся к входу. Она подает пригласительный билет. Контролер, даже не глядя на тисненый картон, вежливо кланяется мне с эдаким пониманием сути. Проходим, как в собственный дом.

Мы весь вечер молчим: она в плену у искусства, а я у нее в плену.

Провожая девушку домой; нам хорошо. После говорливого проспекта, в полутьме, упрятавшей все городские изыяны, пошли каменные переулки, голые, пахнущие заночевавшим здесь солнцем, но без единого деревца.

Женя вдруг останавливается.

— Нам лучше расстаться здесь.

— Вы уже дома?

— Почти. Улица Сельробовская.

Молчу, мне кажется, что я испортил вечер, во всяком случае, отдалил девушку, не в том жанре держал себя.

— Вы что умолкли? — тормошит она меня.

— Думаю... Не познакомить ли вас с моими «оленьями».

— Не врублюсь. Помимо Пришибовского, вы привезли с собой животных?

— Это молодые артисты. Модники, стройные, с хорошими лицами. Стремительные и благородные, как олени.

— Приманка?

Звучит тихий смешок, и я вижу перед собой взрослого ребенка, с лица которого постепенно сходит сияние, оно гаснет, нежная кожа стынет. Холодею и я.

— Пусть это называется так, только приходите.

Она подает руку, в пожатии — понимание и намек. Она удаляется, не оглядываясь, я могу без помех рассматривать ее движения под косыми и яркими фонарями. Сноп волос золотится и в такт шагу вздрагивает на плечах, платье длинной юбкой полощется на высоких, хорошей лепки ногах. Мой взгляд падает на увеличенную тень. У Жени даже тень прекрасна! Черт знает, что приходит в голову, когда смотришь вот на такое уходящее чудо!

День неприятностей. С утра Анатолий Яковлевич бочком протиснулся в створку двери. Он легче прошел бы прямо.

Наш главный очень неприятный человек на репетиции. Полезный, но неприятный. Но сегодня, в присутствии признанного мастера, у меня работа идет живо и продуктивно. Является любимец публики, один из «оленей» — Олег Сидяев. Я не замечал его отсутствия.

— Андреевич, — шепчет он сценически через зал, да так, чтобы ни для кого не пришлось повторять. — Вас просит к телефону Женя. — И повторяет: — Женя!

Вот тебе раз! Тайный страх шибает мне в затылок. Я с подчеркнутой благодарностью киваю, иду в вестибюль, из рук дежурной беру теплую трубку. Это пальцы и руки холодеют.

— Слушаю, Вилага.

— Я не знала вашей фамилии. Николай Вилага — звучит. У меня минута времени.

Женя в трубке — обладательница низкого контральто. Ей больше лет, больше той прибавки, что я уже дал. Хорошо, совсем близко к моим годам. Вслушиваюсь.

— Я сегодня прийти не могу.

Молчим оба. Я потому, что свершилось то, чего я ждал и боялся, а она молчит по не известным мне причинам.

— Только сегодня?

— Да. Завтра я вам позвоню. В гостиницу.

— Минуточку, я вспомню номер...

— Я знаю.

Еще одна черта природы: все, что ей нужно, узнает без посторонней помощи.

— Я вас очень прошу — позвоните. Я вам кое-что обещал.

Она получает удовольствие от моего волнения, вернее, от моей натужной сдержанности.

— А вас где искать, в случае чего? — походя спрашиваю.

Я явно спасовал, потому долго не слышу ответа.

— У меня одно условие игры, — наконец звучит в трубке настороженно и строго, совсем не в духе нашего общения. — Вы никогда, ни при каких условиях не должны меня искать.

Я лишаюсь всякой возможности возразить.

— Я буду ждать вашего звонка. С шестнадцати до восемнадцати.

Я кладу трубку, чтобы этого не сделала она. Бестактно? Не похоже на меня? Но если первой положит она, это навсегда.

...Пришибовский снимает майку, вытряхивает ее в приоткрытую дверь на прохожих, надевает снова, натягивает рубаху и говорит:

— Я пошел. Перекушу, пройду и — на спектакль.

Потом, одетый, смотрит на ручные часы.

— А ты все будешь сидеть — ушки топориком?

Стоит, не уходит.

— Люди, когда читают, переворачивают страницы.

Пауза.

— Тебе помочь? — Проверяет ощупью состояние своего лица перед зеркалом. — Может, сказать главному, что ты на больничном?

Выходит за дверь, возвращается, думает вслух, как в старой драме:

— Конечно, такой шанец случается раз в жизни и совсем не с каждым иудеем.

Лео Вениаминович считает, что он сказал много и веско, можно спокойно идти обедать и играть комедию. Выходит тихо, точно из больничной палаты, спиной прикрывая дверь.

Она звонит. Я жду, пока трижды прогудит зуммер, снимаю трубку:

— Как дела? — спрашиваю.

Самый банальный вопрос ставит ее в тупик. Она толком не находит что ответить.

— Не спрашивайте...

Она хотела парировать непринужденной общепринятой репликой. Получилась нешуточная просьба.

— Вы меня умышленно интригуете?

— Да. — Ей удастся упростить тон.

В ее короткой борьбе с собой я чувствую нечто непростое. Девушка на распутье. Хорошо, если это просто уход от одного поклонника и приход к другому. Господи, как я усложняю обычные житейские перипетии!

— Заходите! — ни с того ни с сего слышу свой бойкий голос.

— Куда? В театр?

— Да нет. Попутно, сюда. В театр пойдем вместе.

Я перегибаю палку, со страху, что ли.

— Я подойду к «Арене» через полчаса. Идет?

С глазу на глаз я не столь решительный. Кроме того, понемногу собираются трезвые наблюдения. Пока обмениваемся пустыми словами: «Лето у вас холодное», «Дожди шли долго», — замечаю, что восторженность Жени припорошена другими, менее яркими эмоциями, голос глуше. Вот! Под левой щекой умело припудренная ссадина, похожая на засос. Я мог бы не заметить. Но я замечаю все. Болтовня продолжается: «Парков у вас много», «Старинный город, издавна благоустраивается, люди не разучились сажать деревья»... Но я не узнаю прежнюю живую девчонку. Что-то все-таки случилось в последние сутки. Она устала, словно после дальней дороги.

В зрительном зале она не меняется, с началом



спектакля косым взглядом замечаю, что очарование старого, может быть, отжившего свой век искусства слегка подчиняет ее.

На сцену врывается Лео Вениаминович в роли обаятельного подтопанного простака. За спиной вспыхивают очажки смеха, потом перерастают в хохот. Как бы преодолевая груз забот, Женя смеется.

...Близится полночь. Оставлен беззаботный смех в стенах театра. Идем по опустевшей с диковинным названием улице. Что-то недоступное, необъяснимое заполняет пространство и сжимает, глушит звуки, движения, притупляет мысль, что-то опасное, известное с чужого голоса. Я не лишен красноречия, но не могу придумать ему названия, боюсь трогать... потому болтаю: «Так я познакомлю вас с «оленьями». Женя долго освобождается от своих мыслей. «Со всеми вместе или с каждым в отдельности?» «Как пожелаете». «Начинайте». Боюсь, что я ей наскучил и эта наша встреча — последняя. И вдруг слышу:

— Послезавтра обязательно встретимся, — повелительно, нежно...

— Это для вас важно? — как бы со стороны слышу свой голос.

— Если бы вы знали, как важно! — по слову, отдельно произносит девушка.

Я делаю шаг к ней, получается очертя голову.

Злюсь на себя за все мои прежние грехи, на нее — за ее чистоту и недосыгаемость. Беру ее лицо в ладони и, скорее, вспоминаю, чем вижу при свете старинного фонаря над головами — ее синяк на шее.

— Это не ссадина, — отвечает Женя на мою заторможенность. — Это поцелуй. — Потом рассудительно и строго: — Только пусть он вас не огорчает. Это совсем не то.

Спросить у нее, не замужем ли она, не подвергалась ли насилию в течение прошедших двух суток. Глупо.

— Вы придете, — шепчу уверенно...

— Я пришла сегодня. И как только смогу, приду...

...Двадцать три часа. Пришибовский вытряхивает майку в проем двери, надевает и сусликом ложится. Я давно гляжу в потолок, вспоминаю. Она убежала; присела, нырнула под руки и убежала. Миновали сутки, я репетировал, ждал ее звонка, стоял в маске палача с топором в последнем акте трагедии «Мария Стюарт» — ждал ее звонка, вот лежу ухом к аппарату — и жду.

Лео Вениаминович справляется:

— У тебя есть деньги?..

— А что?

— Может, жевать нечего?

Услышать от коллеги намек на

предоставление кредита, ну, знаете!

Хорошо же я выгляжу. Надо отвернуться к стенке. Думаю: надо изыскать способ и разочароваться в Жене, на этом пожаре мне ничегошеньки не выгорит. Она с причудами, с завихрениями.

Двадцатилетние студентки третьего курса, да еще экономического факультета, так себя не ведут. Потому у нее и нет надежного кавалера, несмотря на всю ее незаурядную, даже отпугивающую красоту. Но чего она от меня хочет? Если девица легкого поведения, живет за счет гастролеров, то пора бы уже тащить в ресторан, проявить хоть какие-нибудь свойства натуры. И куда она исчезает через день? Может, она все-таки замужем, ведет двойную жизнь? Потребовать объяснений? Но по какому праву? Я ведь тоже не свободен.

— Хорошо, что мы с тобой сегодня шли вместе...

Пришибовский с приплюснутым лицом и сузившимися глазами пытается меня маленько напугать:

— Поздно ведь. А ты не слыхал? Неделю назад из психушки сбежало двое опасных. В городе ищут, приметы по радио сообщили. Я шел с тобой, и не страшно было... Что творится! Куда смотрят!..

Думаю повторно: потребовать объяснений? Но по какому праву? Развернется, уйдет, и, как

выражается Лео Вениаминович, «шанец испарился». А она для меня нынче единственная отдушина в моей не совсем упорядоченной жизни. Или совсем не упорядоченной жизни. Я предан своим хлопотам, купаюсь в успехах и неудачах, заметно чаще в последних. Скорее всего, именно это охладило жену. Зарплата более чем скромная, воровать не научен — да в искусстве стащишь разве что чужую мыслишку, — значит, достаток ниже среднего, от получки до получки с двумя днями научного голодания. Выручают советы диетологов да мое полное безразличие к гардеробу и внешнему лоску. Мне недосуг, я все пытаюсь создать нечто значительное. И, взвесив свои возможности, прихожу к выводу, что не создам никогда. Может быть, Женя уловила во мне кое-что из самой сути и потянулась именно к такому. Но кто бы мне объяснил, что происходит.

Звонок обрывает размышления. Синхронно садимся в постелях: я и Лео Вениаминович. Испуганно смотрим друг на друга, потом на телефон. Тарабанит, трезвонит, похоже, междугородный.

— Слава Богу! — восклицает Пришибовский. Гора падает с его плеч, он заждался звонка, измучился. Теперь улыбается, кивает мне: — Хватай, хватай трубку!

Моментально укладывается лицом к стенке и

накрывает ухо подушкой. Его нет. До меня долетает сбивчивая речь:

— Я не ошиблась?

— С приездом! — ерничаю я.

— Ой, не говори, — как-то естественно переходит Женя на «ты».

— Что за нужда исчезать?

— Условия игры.

— Много у тебя условий? — Я нажимаю на «тебя», по телефону легче сближаться.

— Еще одно. Не спрашивать, где была.

— Допытываться не в моих правилах. Откуда звонишь? Удобно ли устроена? Сидишь, лежишь?

— Стою.

— В прихожей?

— На углу.

— Не понял.

— На углу! У автомата!

— Я бегу к тебе.

— Я валюсь с ног. Я действительно «с приездом». Автостопом со всеми злоключениями.

— Зачем же звонишь? — Верх великодушия с моей стороны.

Ищу отвлеченную тему:

— Завтра шестое июня, день рождения Пушкина. И мы с тобой отмечаем эту дату.

— Где?

— У меня. Я свободен весь вечер.

— Ты с кем квартируешь?

— С великим артистом. Он тебе симпатичен.

Из-под подушки Пришибовский выпростал  
всклоченную голову:

— Я занят. Обойдетесь без меня.

С заткнутыми ушами этот человек слышит не  
только то, что я говорю, но и то, что в трубке.

...Жду с шестнадцати часов. Чувствую  
снедающее нетерпение — пятнадцатилетний  
школьник, но никак не мужчина. Падаю в  
собственных глазах, корю себя и — не свожу глаз с  
асфальтированной дорожки между старыми  
каштанами. Там я ее вскоре увижу.

Она пунктуальна: приходит и останавливается  
у мокрой садовой скамейки. В руке тяжелая красная  
сумка, на плечах комбинированная курточка из  
плащевого импорта. Все светится, искрится.  
Демонстративный взмах рукой куда-то в сторону и  
вверх до уровня третьего этажа. Потом  
подражательный мальчишеский свист. Разыгралась  
девушка, несомненно привлечет внимание целого  
десятка жильцов с других балконов. Зачем это ей?  
Загадка, и только.

Ко мне входит подчеркнуто запросто. Я гоню  
мысль, что гостиничные номера для нее знакомы.  
Умышленно, что ли?

Вспаривается сумка. Витые розовые свечи

устанавливаются на дальние углы стола, в глубине размещается большой, подсвеченный красками портрет Пушкина. В блюдо из-под графина высыплются пирожные-картошка и конфеты.

— Вино мое, — тороплюсь достать из-под кровати бутылку.

Она загадочно улыбается и отрицательно качает головой.

Выставляет «Фетяску».

— Нет, мое. Ты не знаешь, что я люблю кисленькое.

— Я про тебя ничего не знаю.

— В этом мое спасение, — без тени шутки отзывается Женя.

Зашториваю и без того мрачные окна, подхожу сзади, стягиваю с ее плеч куртку. Через высокое плечо девушки всматриваюсь в портрет поэта: черные искрящиеся глаза живут. На них накладывается ее взгляд и тоже чернеет. Она разливает вино. Дает молча пригубить. Она не жадна к спиртному, едва отхлебывает. Мне хотелось бы, чтобы она упиалась и повернулась ко мне. Она ставит, потом отодвигает стаканы, замечаю неуверенность, дрожь рук. Как вспыхнули свечи, не помнится. Она шепчет:

— Это в последний раз.

Что-то вещее витает в воздухе, вселяет страх. Я не понимаю ее глухих слов и не переспрашиваю,

лишний вопрос разобьет обаяние вечера. Она приближается ко мне, кривит губы, кротко отворачивается, дует на свечи. Темно. Чтобы не упустить, не опоздать, не опростоволоситься, я накрываю ее рот поцелуем. Нащупываю пуговицы у нее меж лопатками — она поворачивается ко мне спиной, я касаюсь подола ее платья — она поднимает руки. Я начинаю движение — она продолжает.

Сколько прошло времени, ни я, ни она определить не можем, у нас — вечность, во вселенной — миг. Мы дрожим, у нас текут слезы. Потом нас донимает приступ смеха.

— Ты останешься у меня.

— А куда мы положим Лео Вениаминовича?

— Между нами.

Обрывается ее смех вдруг, и я помню, после какой шутки:

— Я не пойду тебя провожать.

— Новости!

— Я боюсь сумасшедших.

— В нашем городе все сумасшедшие, — отшучивается Женя.

— Как! Ты не знаешь? Из психушки на днях сбежало двое добрых молодцев. Пришибовский сказал, что по радио передавали приметы. Опасные!

Вот тут-то и воцарилось самое полуночное молчание. Тишина и темень. После торжества



любви — такое зияющее ничто... стало жутко.

— У нас в городе сумасшедшие все... И те, кто передавал приметы, и те, кто рассказывал Пришибовскому... Все, кроме двух сбежавших из психушки.

Минуту назад я величаво отдыхал, откинувшись на скомканную подушку: поперек кровати. Рука покоилась на девичьем бедре, прикрытом только тьмою. Я был счастлив, впервые чувствовал себя собственником крупного состояния, мои капиталы надежно охранялись древнейшими законами. И вот ушат колодезной воды опрокинут на мою голову, волосы мокрые уже не от трудов любви, а от содержимого этого ушата. Голос, похожий на осыпающуюся с большой высоты цепь или шарканье пустых мельничных жерновов, не мог принадлежать женщине, только что забывшей великого поэта, прервавшей ритуал в самом дебюте — ради меня, мчавшейся мне навстречу каждым движением, каждым вздохом, подымавшей все земное и брэнное на божественную высоту — ради меня. Нет, говорила другая женщина, зрелая, беспристрастная, даже не женщина — ментор.

Чудес не бывает, не могли подменить прямо в моих объятьях слабую, сексуально несдержанную девушку таким учителем жизни. Я пробую вернуть на минуту утраченное наше бездумное, парящее

состояние, прибегаю к реплике из моей новой комедии:

— И я порой не чужд литературных образов, реминисценций.

Меня не слышат.

— Умалишенных подбирают в первый же день. Они поступают импульсивно, непредсказуемо. Их боятся обыватели, тут же спешат изолировать. А этих неделю не могут найти. Прибегли к крайности: объявили розыск, приметы.

Я понимаю, что следовало бы принять ее тон, но ничего не могу с собой поделаться, недомыслие так и прет из меня:

— Из дурдома могут бежать только дураки...

— Инакомыслящие. Герои-одиночки.

Она уже сидит. Не гневается, просто отстраняется от меня, словно от недоумка, а я, огорошенный, эдак красиво продолжаю:

— Диссиденты. Если таковые, паче чаяния, обнаружатся в вашем непорочном городе, то обыватели помогут их выловить в первую же минуту. Народец у нас натасканный и припугнутый.

Чувствуя, что право на обладание любимым телом помаленьку утрачивается мной, я пробую ладонью перехватить удаляющееся плечо. Оно отзывается мелкой дрожью.

— Припугнутый, — слышу как бы издали. — Прости, я тут обозвала всех горожан сумасшедшими. Это в запальчивости. — Забыв подумать, Женя говорит мне прямо в лицо: — Есть ведь такие, что перехватывают беглецов и прячут. После допросов, знаешь, бывает, с побоями, после заточения в вонючей палате с решетками и настоящими психами, как правило, буйными, после декалитров гормональных и еще черт знает каких уколов, притупленные, угрюмые, с располневшими задами, брюхатые, титькатые, они нуждаются в опеке, в присмотре и выхаживании.

— И тут появляются врачи и харчи?

Я ляпнул такое, наверное, только потому, что пришла в голову рифма, или потому, что не мог себе представить, что Женя серьезно принимает к сердцу столь далекие, по моим представлениям, невероятные, политические коллизии. Она вспышивает:

— И харчи, и врачи, и многое, что тебе, благополучному, изолированному от горестной стороны жизни, и присниться не может!

Я жду, что она отхлебнет из стакана и станет одеваться. Суетливо ищу, чем бы ей помешать. Но мои режиссерские стереотипы непригодны. Девушка действительно отхлебывает «Фетяски», подносит к моим губам тот же стакан, ждет, пока я наглотаюсь, медленно подсаживается ко мне,

говорит самое доброе и достоверное из того, что она знает:

— Есть такие. Кормят по чуть-чуть, по рецепту, связывают с родней, увозят на хутора, доставляют туда и врачей, и харчей.

Тут Женя долго не произносит ни слова, взвешивает, что ли, решается как-то через силу, прежде потрепав меня по прическе, погладив спину и приобняв, шепчет:

— Девушек привозят, чтобы вернуть им веру в себя, в дело, ради которого они страдают. Да, да, по совету психолога девушки проводят с ними время... Любят их... Прости, далеко не все сумасшедшие в моем городе...

При свечах лицо девушки виноватое-виноватое... величавое и заносчивое...

Кажется, я проникаюсь благим, но совершенно непонятным для меня чувством. Вроде впечатления от только что прослушанной пьесы, далекой, из прошлого века, на чужом языке. Я знал, что живут люди плохо, видел много несправедливости слева и справа. Но, прожив четверть века в относительном благополучии, я отстраненно сознавал, что есть другая жизнь, лучше, честнее, богаче, что за нее борются, отбывают тюрьму, оказывается, и сумасшедший дом. А эта обыкновенная двадцатилетняя девушка знает, она посвящена в страшные тайны и, доверяя

мне, признается. Со стороны это красиво и значительно. Читать, ставить похожий материал — выигрышно, если бы самая малость — позволяли... но мне становится жутко: избави Бог впутаться в нечто подобное в жизни. Слезы матери — вспоминаются напутствия малограмотной, обожающей своего единственного сына женщины: «Ты там не болтай, кнутом обух не перешибешь, только будешь мучиться и меня в могилу сведешь...» Пересуды коллег и знакомых — вряд ли кто из них пожертвует своим убогим благополучием ради призрачной идеи...

Я нахожусь, как исправить атмосферу вечера. Встряхиваюсь, крикаю:

— Женечка! О чем мы в постели?

Впервые слова оказываются уместными. Она, наверное, тоже одумалась, а то и побоялась моего языка на людях. С неожиданной легкостью соглашается:

— И то правда. Выпьем и забудем.

Пьем. Но она это делает совсем не так, как в начале свидания. И тост не отсюда:

— За тех, кто за нас!

...Я продолжаю репетицию.

А сам думаю: с Женей придется покончить. Даже если я нафантазировал лишнее. Для отдушины, для легкого времяпровождения она не

годится. Эта взрослость не по годам, экспансивность, обнаженные нервы. И таинственность...

Не хочется делать перерыв, помощница, тем не менее, показывает на часики на своей пышной груди. Тут же подходит Сидяев и, вместо обычных занудных выяснений зерна образа, шепчет:

— Через минуту вам будет звонить Женя.

Хочется, чтобы Женин звонок был последним, чтобы «олень» вообще пошутил...

— У тебя свободное время с трех до семи?

Все-таки она.

— Да?

— В три я жду тебя у оперного. И пойдем в парк, — подарочно произносит девушка.

Голос свежий, в нем много ноток, какие преобладали в первый вечер нашего знакомства. Во мне пробуждаются сладкие воспоминания, кажется, плен продолжается.

— Не слышу благодарности.

Так говорят с человеком, который многим обязан... увязан.

— Твое слово — и достаточно...

— Я тебя люблю.

Что тут скажешь?

— Непостижимо, за что?

— Блажь. В три часа, на углу.

— Это уже вымогательство.

— Адье!

По-моему, она повесила трубку раньше, чем закончила фразу. Девушка помаленьку становится хозяйкой положения.

В три часа на углу Женя сказала:

— Вчера я подала заявление в загс.

Ни жалоб, ни стенания, одно смирение. Она в шелковом платье, белое со слабыми желтыми и зелеными листьями, осенняя россыпь на летнем фоне. Она скромно показывает свои частые, сияющие зубы, но смеха не слышу, хотя думаю, что трюк с загсом ею придуман, чтобы досадить мне. Я уверен, хотя другой на моем месте не был бы так уверен — надо знать Женю.

Уже ступая рядом со мной к остановке троллейбуса, она заговаривает элегическим и вместе с тем как бы посторонним, упрощающим ситуацию тоном:

— Поедем прощаться с городом. — И, усевшись в полупустом вагоне, командует, будто таксисту: — В парк!

Мне начинает казаться, что плетется какая-то нелепица. Встретиться — лишь бы отметить. Она не совсем такая, какая была, скажем, позавчера, — суется, по временам забывает о спутнике. Я тоже хорош! Насытился свиданием, могу вольно рассуждать о посторонних вещах в присутствии столь изумительной красавицы, вместо того, чтобы

каждой фиброй души внимать ей.

— Двадцать лет прожила... И только здесь. И вот смотрю чужими глазами, — шепчет девушка.

— Можно предположить, что ты собираешься покинуть город навсегда.

Женино лицо немеет, непривычная бледность холодит его:

— Представь себе...

Говорит и страшится продолжения речи, избегая расспросов. Вскрикивает и торопится к выходу.

Меня переполняют тревожные предчувствия. Ожидать неприятностей у меня нет оснований, претендовать на руку и сердце Жени я не могу...

Старый парк — гордость горожан. Спускаемся в долину, идем вдоль культурных угодий. Девушка и впрямь вся внимание, как бы пытается охватить взором всю зелень, и небо над ветвями, и возню птиц. Приводит меня к старому пню под куполом молодой листвы.

— Здесь мы встречали рассвет после выпускного вечера. Каждое дерево у нас имело имя. Рома, Оксана, Парфен...

— Ты рано принялась вспоминать. Поживи еще.

Она просто, без нажима возражает:

— Никому не дано знать, сколько ему отведено... всего этого...



Свидание мне кажется скомканным, вымученным, не для нас с Женей, для кого-то третьего. И вот слова, обращенные ко мне, впритык — нос к носу:

— Все, что я тебе говорила о «врачах-харчах», особенно о девушках-врачевателях... для твоего же блага... забудь. Ты из другого детского садика.

Девушка вдруг пятится в тень каштана, за угол маленькой часовни. Хочу понять ее: поцеловаться, что ли, надумала. Ступаю следом. Щеки ее вспыхивают неровными пятнами. Тут же бледнеют мертвенно. Глаза косят, стригут, выражают все, что угодно, только не желание.

За спиной хлопает дверца автомобиля. Заранее бессмысленно похолодев, озираюсь: высокий шатен в приличном костюме стоит между нами и «волгой». Передняя дверца открывается, водитель опускает на тротуар одну ногу.

Женя делает шаг в сторону, едва не натывается на коренастую фигуру прохожего, тоже молодого и прилично одетого, который необъяснимо, с трогательной вежливостью преграждает ей дорогу. Она приосанивается, делает шаг ко мне, откровенно целует.

— Бай-бай, — говорит заурядно, криво улыбаясь.

Идет к машине, задняя дверца открывается.

Я жду худшего для себя. Как перед

умирающим, передо мною проходит вся моя сознательная и подсознательная жизнь, даже глаза зажмуриваю. И вижу Женю на ночном хуторе, в объятиях беглого диссидента...

Гула двигателя не слышу. Поднимаю веки: ни «волги», ни приличных людей в штатском... Ни Жени.

Спектакль или летаргия? Лыщу себя надеждой, что это все-таки свадебные дружки воруют невесту. В западных городах обряды живучи...

Шамкающий голосок старушки у часовенки:

— Конечно, этим трем мерзавцам куда легче скрутить человека и получить все блага, чем изо дня в день тянуть лямку и считать копейки..

Женю брали двое. Третий мерзавец — это я. Я не встал между нею и товарищами в штатском, я даже не спросил у них ордер на арест. Я только дрожал от страха....

## **Мигрантка**

### **I. Прободная язва**

Началось это в Питере, в мореходке. Радист Пашка Левашов мучился похотью. В самоволке набрел на Лару, — так назвала она себя поначалу, — росленькую, фигуристую замарашку в

подогнанном платье и самодельной прическе — явно ягодка из таежной просеки. Длинный и видный, намагниченный курсант обычно робел перед желаниями. Но тут понял: подвернулась слабачка. Нашарил в заднем кармане смятые трешницы, красиво кивнул, как в кино:

— Попьем безалкогольного?

— Так опрометчиво?

Она умышленно округлила карие глаза, неловко подведенные и все наружу, всем телом как бы отвернулась, но не ушла.

— Трактир рядом, три ступени вниз.

У него — лицо, внушающее доверие, всего два года как из глубинки, хохлацкой, виноватой и утратившей надежды, как взгляд Лары.

— Только безалкогольного, — сказала ягодка и пошла вперед.

— Дорогу знаешь? — вырвалось у парня и усеклось.

— Написано, — улыбнулась Лара ровными овечьими зубками и добавила: — Я Галя, если кто спросит.

— Гм... Я все равно — Пашка.

— В форме... Разве можно к стойке?

— А тут и перекусить можно. Пускают.

Гюйс лежал на длинных тощих плечах хорошо, фланелька стягивалась в поясе. Нос прямой, брови густые, зубы — пока все. Костистое

и недокормленное тело подкачано гантелями. Добавить малую меру нахальства — и девка твоя.

— Пива, — заказал курсант Левашов. — Ты как? — кивнул спутнице.

— Два пива, — сказала она бармену и добавила: — Мне еще окрошку и шницель.

— Минуточку! — ахнул кавалер. Достал трешницы, пересчитал. — Валяй, — скомандовал мужичку за стойкой.

Сели в углу. Повторили друг для друга.

— Я Паша, ты Галя...

— Я Галя, ты Паша...

И потом — кино. Она жевала, а он хлебал пиво. На половине бокала у него в животе заурчало, заболело. Даже скривил физиономию. Терпел, пока она насыщалась, но дальше не пил. Совсем дурно стало, уже в голове. Ножом изнутри резало, кровь ударяла в лицо. Только воля, нажитая на занятиях по физподготовке, держала вертикально.

— Спасибо, — сказала Лара-Галя. — Ну, у меня рот занят, а ты что молчишь?

Выяснилось, что он и голоса в недрах гортани не сыщет.

— Выйдем на улицу, — наконец прошептал.

Разбитым старцем, держась за столики, даже за плечо девушки, выбрался на тротуар и... сполз спиной по стенке дома.

— Ты что? — круглые глаза спутницы

потемнели и забегали по сторонам.

— На карточку, — шептал через «не могу» парень. — Зови «скорую».

Она, спасибо, позвонила. Спасибо же, «пикапчик» или «газелька», — он уже различить не мог, — подкатила.

— Ваш больной? — спросил врач.

— Я — прохожая, — соврала Лара-Галя. — Так, позвонила...

И попятилась, попятилась за угол.

Пашку уложили в лазарет. Потом срочно на операционный стол в клинике. Чистили долго, зашивали.

— Часик бы позже — аминь курсанту! — сказал врач.

Из мореходки списали Левашова. Но радистом он остался классным. Походил по Невскому, завернул в одну-другую улицу: Гали не нашел. Понятно: на какой хрен ей калека и бесприютный хохол?! Девочка прибилась во вторую столицу ловить счастье, и сразу, а тут в кармане билет до Николаева и в рюкзачке две пайки на дорогу. Самому бы поискать приюта в Питере, чтобы с ночлежкой и дневным пропитанием. Но физически асфальт долбить ему не велел хирург, а гений у Пашки на лбу пока не расписался. У парня любой моток провода вещает на тысячу верст, его ухо слышит на триста метров под землю — да кому

докажешь на пальцах! Как искать ту контору, где нужда в таких охломонах? Молод и прям, как камыш, не за что зацепиться постороннему глазу. Да и время нужно, а люди теперь спешат, спешат — страна разваливается: дери и дай, и — просто в рай, как пел Тарас.

На Финский вокзал провожал один дружок, Серж Анапа:

— Устроишься, черкни адресок...

...Сошел на полдороги — не смел явиться к одинокой матери не солоно хлебавши: надежда ее, найденыш, на которого все нервы измотала, даже два ордена получила в какой-то вредной зеркальной лаборатории, болячек нажила целый список, ушла от супржга...

Сошел в Киеве. Красиво и одиноко до слез. Пообедал под каштаном на углу, вспомнил старую песенку беспризорника: «Прощай, любимый Киев, — я уже торбу выел». Побрел к двоюродному дяде, ворует где-то при стройконторе. Пока выискал, снова проголодался. Задерганный интеллигент с галстуком набекрень и взглядом тебе за спину принял племяша во дворе стоя, мучительно вспоминал, где же они виделись. Левашов пошарил в кармане, наткнулся на последнюю трешку и промычал:

— Может, пивка зайдем-попьем?.. — Мол, покормил бы, прохвост столичный.

В ответ пущее мычание:

— Не до того. Баба из дому поперла. А тут начеты по службе. Просак...

Постояли, глядя мимо, так и расстались. Кто первый развернулся и пошел, кивнули ли на прощание, не спрашивай. Новый вопрос в голове: как компостер оформить до дома?

На перроне стоял поезд в сторону Урала. Подкатил к проводнице последнего вагона, наговорил нелепицу: мол, в Харькове друг, сел в предыдущий состав, а он, Пашка, опоздал, деньги у друга. Ждет где-то на вокзале тот, сразу же вернет всю сумму и сверху. Девка была молодая и, видать, блядовитая: помусолила парня взглядом, сказала: «Врешь нескладно, только садись, потом разберемся». Разбирались за полночь, с гранеными стаканами и бутербродиками за столом, затем на нижней полке-купе под замком. Уж и отвел душу Пашка — за весь второй курс отпустил! И так подошел проводнице, что та везла его с перцепкой вагона до Хабаровского края, кормила и просила с нею же в обратный путь пуститься. Бригадир, видно, с нею заодно, только заглянул пару раз, собрал с девки дань за другой-пятый-десятый пролет — и поверил, что Пашка сиротка и родной брат ей одновременно.

В Хабаровске парень понял, что секс хорош в меру, надо бежать. Пока хозяйюшка оформляла

где-то прибытие-отбытие, украл последнюю снедь и скрылся за прокуренным вокзалом.

Уже под лиственницей в сыром парке сел и подумал: куда же дальше? Вспомнил сокурсника на Камчатке, в Петропавловске. Пошел справляться: как туда?

## II. Пашелот

И Камчатка, и хренов Петропавловск испугали Пашку, огляделся больше — страх сделали хроническим. Моря слишком много, холмы похожи на бритые шилом и посредине брошенные подбородки. Дома в Питере были треснутые и облезлые, но явно некогда шикарные, а здесь, казалось, и задумывались — строились уже старыми и заброшенными. Короче, надо сматывать удочки. Но до этого сильно хотелось поесть. Приятеля не нашел, воровать боялся — хоть на паперть! Нашел причалы с вилами скиданными сейнерами, рыбацкое Управление, наконец — радиослужбу. Старшой оказался черненьким, похож... если скрестить якута с алеутом, вот такой гибрид. По рождению коряк, по фамилии Корякин. Только величал себя русским и ставил выше хохла на голову, хотя был Паше подмышки. Осанка сзади доской ушиблена, и вся слегка окутана ароматом вчерашнего гудения. Философию свою изложил



сразу:

— Тут того, край такой, чтобы с материка залетели, пограбили, кто во что горазд, и разбежались.

Левашову проницательность аборигена понравилась. Хотел зауважать, но тот обеда не предложил, даже не расспросил, что там у него внутри. Велел перепаять концы в стойке передатчика.

— Которые?

— Разберись сам.

Пополудни старшой опробовал работу — налил гранчак, собственноручно нарезал хлеб, лососевый балык. После второго стакана признался, что опричника Кирибеевича Пушкин списал с него. И пояснил, что на свете есть один поэт — Пушкин и один художник — Вася Гондон, который в рыбном цеху малюет и наклеивает всякую хрень на заваренные банки.

Затем своим ходом отвел в лачугу на двоих — третьим. На другой день указал на трансформатор, потом на два приемника.

— Разберись.

Проверил, накормил с тем же гранчаком и прибавкой на третье, сладкое. А утром взял с собой на ботик и попер в открытый океан.

— Я воды боюсь, — промычал Пашка.

— А еще чего боишься?

— Высоты.

— Тут, брат, с такими козырями не играют.

— Я еще закрытых... нет, открытых пространств боюсь. Даже больших площадей в городе. А тут море-океан.

— А придется на ремонт радиосвязи мотать на ботике, если двадцать миль. А если дальше — вертолетом. Да в волну по трапу спускаться на палубу. А потом, если с божьей помощью справишься, захмеленным карабкаться по канатной лесенке с палубы на вертолет. Тут закон подлости — поломки всегда в непогоду. Пороша, обледенение или вал за валом. Еще бывает, с борта на борт по суденышкам прыгать... Платят, правда! И угощают. И любят...

Таки надо бежать, — внушает себе Пашка.

— Это я-то выездным монтером буду?

— Называется это красивее, но тебе только это могу предложить.

На сейнере было уютно, только вода вокруг, и если тонуть, то никаких признаков спасения. Даже связи. Потому Пашка враз нашел изъясн — и прием-передача текста пошли!

Назавтра его поселили в дельную лачужку, приписали к камбузу на берегу.

— Денежку у меня бери, сколько хочешь, — сказал коряк Корякин. — При получке там еще подъемные я тебе хорошие устрою, как

исключение, часть заберу. Не обижу. Только ты не скурвись...

— Я не по этому делу.

— Я не про блядей. Про дисциплину. А рыбачек тут, бичовок — гавань пруди. Приглашай, угощай. За хороший треп и харч любым триппером обеспечат.

«Клаустрофобия» — читал Пашка когда-то, когда еще читал. Это про сидение в поломанном лифте во второй столице. А как все остальные его страхи по научному называются — не знал. Термины, даже специальные, не держались у парня в голове, местность не умел запоминать, только приживался и по наитию ориентировался. А вот техника родилась в одной утробе с ним, и привычка бесконечно работать внедрилась с детства, от проклявшей себя ради «вывести сына в люди» матери.

Были и странные радости. Повинуясь призывам похоти, приманил одну обветренную, вроде с чешуйкой по щекам, живую и согласную. Катей назвалась, да, поди, врет. Кормил, намекал.

— Да что ты все вокруг да около? — Она толкнула Пашку в грудь: — Ложись.

Его пуговицы отщелкнула разом, а вот в своей узкоплечей курточке долго ковырялась, дергалась, шипела:

— Змейки придумали, анафемы!